

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

МЕТЕЛЬ

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

МЕТЕЛЬ



БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

МЕТЕЛЬ

СТИХИ

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1977**

P 2
A 95

В новую книгу Беллы Ахмадулиной вошли стихотворения, написанные ею за последние годы. Многие из них были опубликованы в периодической печати.

Художник Ю. А. Боярский

© Издательство «Советский писатель», 1977 г.

А $\frac{70402-337}{083(02)-77}$ 126—77

ДОМ И ЛЕС

Этот дом увядает, как лес...
Но над лесом — присмотр небосвода,
и о лесе печется природа,
соблюдая его интерес.

Краткий обморок вечной судьбы —
спячка леса при будущем снеге.
Этот дом засыпает сильнее
и смертельней, чем знают дубы.

Лес — на время, а дом — навсегда.
В доме призрак — бездельник и пицций,
а у леса есть бодрый лесничий
там, где высшая мгла и звезда.

Так зачем наобум, наугад
всеу связывать с осенью леса
то, что в доме разыграна пьеса
старомодная, как листопад?

В этом доме, отцветшем дотла,
жизнь былая жила и крепчала,
меж висков и в запястьях стучала,
молода и бессмертна была.

Книга мучила пристальный ум,
сердце тяжело по сердцу томилось,
пекло совести грозно дымилось
и вперялось в ночной потолок.

В этом доме, неведомо чьем,
старых записей бледные главы
признаются, что хочется славы...
Ах, я знаю, что лес ни при чем!

Просто утром подуло с небес,
и соринкою, втянутой глазом,
залетела в рассеянный разум
эта строчка про дом и про лес...

Истощился в дому домово́й.
Участь лешего — воля и нега.
Лес — ничей, только почвы и неба.
Этот дом — на мгновение — мой.

Любо мне возвратиться сюда
и отпраздновать нежно и скорбно
дивный миг, когда живы мы оба:
я — на время, а лес — навсегда.

* * *

Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи,—
без них я не желала умирать.

Так мучалась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
все прочее — блаженством я зову.

* * *

Последний день живу я в странном доме,
чужом, как все дома, где я жила.
Загнав зрачки в укрытие ладони,
прохлада дня сияет, как жара.

В красе земли — беспечность совершенства.
Бела бумага.
Знаю, что должна
блаженствовать я в этот час блаженства.
Но вновь молчит и бедствует душа.

* * *

Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.

Как я люблю минувшую весну,
и дом, и сад, чья сильная природа
трудом горы держалась на весу
поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю сейчас, но, подлежа весне,
я ощутила только страх и вялость
к объему моря, что в ночном окне
мерещилось и подразумевалось.

Когда сходились море и луна,
студил затылок холодок мгновенный,
как будто я, превысив чин ума,
посмела фамильярничать с вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон —
не слишком ли? Но оставалась радость,
что, возымев во времени былом
день нынешний, за все я отыграюсь.

**Не наглость ли — при море и луне
их расточать и обмирать от чувства:
они живут воочью, как вчерне,
и набело навек во мне очнута.**

**Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это —
в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь предмета.**

**Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх и доблесть,—
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск.**

★ ★ ★

**Кто знает — вечность или миг
мне предстоит бродить по свету.
За этот миг иль вечность эту
равно благодарю я мир.**

**Что б ни случилось, не клянуп,
а лишь благословляю легкость:
твоей печали мимолетность,
моей кончины тишину.**

ПРОЩАНИЕ

А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуіся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? — ты пригубил
погибели. Не в этом дело:
как ты любил? — ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха, о, нет
тебе прощенья. Живо тело
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

* * *

Я вас люблю, красавицы столетий,
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.

Еще за то, что, стиснув створки сердца,
клад бытия не отдавал моллюск,
открыть и вынуть — вот простое средство
быть в жемчуге при свете бальных люстр.

Как будто мало ямба и хорей
ушло на ваши души и тела,
на каторге чужой любви старея,
о, сколько я стихов перевела!

Капризы ваши, шеи, губы, щеки,
смесь чудную коварства и проказ —
я все воспела! Мы теперь в расчете!
Последний раз благословляю вас!

Кто знал меня, тот знает, кто нимало
не знал — поверит, что я жизнь мою,
всю напролет, навтыяжку стояла
пред женщиной, да и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места
не двинуться? Невмочь мне, говорю,
быть тем, что есть, и вожаком семейства,
вобравшего зверье и детвору.

Наскучило чудовищем бесполом
быть другом, братом, сводником, сестрой,
то нежничать, то враждовать с глаголом
пред тем, как стать травой и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,
подстрочников и прочего труда —
я не хочу! Я делаюсь богата,
неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю — поступаю талантом,
стать оборотнем с розовым зонтом,
с кисейным бантом и под ручку с франтом!
А что есть ямб — знать не хочу о том!

Лукавь, мой франт! Опутывай! Не мешкай!
Я скрою от незрячести твоей,
какой повадкой и какой усмешкой
владею я! Я — друг моих друзей!

Красавицы, ах, это все неправда.
Я знаю вас — вы верите словам.
Неужто я покину вас на франта?
Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда, ступая, как летая,
проноситеесь, смеясь и лепеча...
Суть женственности вечно золотая —
всех, кто поэт, священная свеча.

**Обзавестись бы вашими правами,
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?**

ФЕВРАЛЬ БЕЗ СНЕГА

Не сани летели — телега
скрипела, и маленький лес
просил подаяния снега
у жадных иль нищих небес.

Я утром в окно посмотрела:
какая невзрачная рань!
Мы оба тоскуем смертельно,
не выжить нам, брат мой февраль.

Бесснежье голодной природы,
измучив поля и сады,
обычную скудость невзгоды
возводит в значенье беды.

Зияли надземные недра,
светало, а солнце не шло.
Взамен плодородного неба
висело пустое ничто.

Ни жизни иной, ни наживы
не надо, и поздно уже.
Лишь бедная прибыль снежинки
угодна корыстной душе.

Вожак беззащитного стада,
я знала морщинами лба,
что я в эту зиму устала
скитаться по пастбищу льда.

Звонила начальнику книги,
искала окольных путей
узнать про возможные сдвиги
в судьбе моих слов и детей.

Там кто-то томился и бегал,
твердил: его нет! его нет!
Смеркалось, а он все обедал,
вкушал свой огромный обед.

Да что мне в той книге? Бог с нею!
Мой почерк мне скушен и нем.
Писать, как хочу, не умею,
писать, как умею,— зачем?

Стекло голубело, и дивность
из пекла антенн и реле
пронестекала, и длилась,
и зримо сбывалась в стекле.

Не страшно ли, девочка, диктор,
над бездной земли и воды
одной в мироздании диком
нестись, словно лучик звезды?

Пока ты скиталась, витала
меж башней и зреньем людей,
открылась небесная тайна
и стала добычей твоей.

Явилась в глаза, уцелела,
и доблестный твой голосок
неоспоримо и смело
падение снега предрек.

Сказала: грядущею ночью
начнется в Москве снегопад.
Свою драгоценную ношу
на нас облака расточат.

Забудет короткая память
о муке бесснежной зимы,
а снег будет падать и падать,
висеть от небес до земли.

Он станет счастливым избытком,
чрезмерной любовью судьбы,
усладю губ и напитком,
весною пьянящим сады.

Он даст исцеленье болевшим,
богатством снабдит бедняка,
и в этом блаженстве белейшем
сойдутся тетрадь и рука.

Простит всех живущих на свете
метели вседобрая власть,
и будем мы — баловни, дети
природы, влюбившейся в нас.

Да, именно так все и было.
Снег падал и долго был жив.
А я — влюблена и любима,
и вот моя книга лежит.

* * *

Как никогда беспечна и добра,
я вышла в снег арбатского двора,
а там такое было: там светало!
Свет расцветал сиреневым кустом,
и во дворе, недавно столь пустом,
вдруг от детей светло и тесно стало.

Ирландский сеттер, резвый как огонь,
затылок свой вложил в мою ладонь,
щенки и дети радовались снегу,
в глаза и в губы мне попал снежок,
и этот малый случай был смешон,
и все смеялось и склоняло к смеху.

Как в этот миг любила я Москву!
Я думала: чем дальше я живу,
тем проще разум, тем душа свежее.
Вот снег. Вот дворник. Вот дитя бежит.
Все есть и воспеванью подлежит!
Что может быть разумней и священной?

И день, словно живое существо,
стоит и ждет участия моего,

**и воздух для меня кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что — жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зовется Хлебным.**

* * *

Ю. Королеву

**Собрались, завели разговор,
долго длились их важные речи.
Я смотрела на маленький двор,
чудом выживший в Замоскворечье.**

**Чтоб красу предыдущих времен
возродить, а пока, исковеркав,
изнывал и бранился ремонт,
исцеляющий старую церковь.**

**Любоваться еще не пора:
купол слеп и весь вид не осаншет,
но уже по камням двора
восхищенный бродил чужестранец.**

**Я сидела, смотрела в окно,
тосковала, что жить не умею.
Слово «скоросшиватель» влекло
разрыдаться над жизнью моею.**

**Как вблизи расторопной иглы,
с невредимой травой зеленой,**

с бузиною, затмившей углы,
уцелел этот двор непреклонный?

Прорастание мха из камней
и хмельных маляров перебранка
становились надеждой моей,
ободряющей вестью от брата.

Дочь и внучка московских дворов,
объявляю: мой срок не окончен.
Посреди сорока сороков
не иссякла душа-колокольчик.

О, запекшийся в сердце моем
и зазубренный мной без запинки
белокаменный свиток имен
Маросейки, Варварки, Ордынки!

Я, как старые камни, жива.
Дождь веков нас омыл и промаслил.
На клею золотого желтка
нас возвел незапамятный мастер.

Как живучие эти дворы,
уцелею и я, может статься.
Ну, а нет — так придут маляры.
А потом приведет чужестранца.

НОЧЬ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

**Истекает последняя ночь.
Без единой пометки обмана
неподкупно белеет бумага,
и тому, кому этого мало,
я ничем не умею помочь.
Распадаются лоб и рука,
и, уже не сокрыто ладонью,
обнажилось лицо старика,
а вчера я была молодою.**

**Мне поклоны последние класть
не пора ли? Погашены свечи.
На сегодня назначена казнь
расторжения горла и речи.
Но возможно ль? — одной и при всех
быть раструбом огромного звука,
это действие — нагое, как смерть,
безобразно, как всякая мука.
О родимый палач, книгочей,
для чего мою душу неволишь?
Отстрани любопытство очей
от того, что мое и мое лишь.
Соглашаюсь остаться в красе
осмеянья, провала и краха,**

но не дай мне запеть на костре.
Дай заплакать от боли и страха.

Отреклась бы! Да поздно уже.
С хрустом жил выгибаю я шею.
Этот голос, что равен душе,
про запас я беречь не умею.
Прежней жизни последний глоток
расточаю! Мне это не внове.
Голос мой, как убитый цветок,
как замаранный кровью платок,
я сама тебя брошу под ноги,
и, когда опустеет помост,
стану вздохом, кристаллом тумана
и билетом в трущобе кармана,
и тому, кому этого мало,
я ничем не умею помочь.

ОПИСАНИЕ КОМНАТЫ

Ты, населивший мглу вселенной,
то явно видный, то едва,
огонь невнятный и нетленный
материи иль божества,
ты — ангелы или природа,
спасение или напасть,
что ты ни есть, твоя свобода,
твоя торжественная власть.
Не благодать твою, не почесть,
судьба земли, оставь за мной
лишь этой комнаты непрочность,
ничтожную в судьбе земной.
Зачем с разбега бесприютства
влюбилась я в ее черты
всем разумом — до безрассудства,
всем зрением — до слепоты!
Кровать, два стула ненадежных,
свет лампы, сумерки, графин,
и вид на изгородь продолжен
красой невидимых равнин.
Творилась в этих бедных стенах,
оставшись тайною моей,
печаль пустых, благословенных,
от всех сокрытых зимних дней.

**Здесь совмещались стол и локоть,
тетрадь ждала карандаша,
и, провожая мимолетность,
беспечно мучилась душа.**

ПОДРАЖАНИЕ

Грядущий день намечен был вчерне,
насущенный день так подходил для пеня,
и четверо, достойных удивленья,
гребцов со мною плыли на челне.

На ненаглядность этих четверых
все бы глядела до скончанья взгляда,
и ни о чем заботиться не надо:
душа вздохнет — и слово сотворит.

Нас поцадили небо и вода,
и, уцелев меж бездною и бездною,
для совершенья распри бесполезной
поплыли мы, не ведая — куда.

В молчании достигли мы земли,
до времени сохранные от смерти.
Но что-нибудь да умерло на свете,
когда на берег мы поврозь сошли.

Твои гребцы погибли, Арион.
Мои спаслись от этой лютой доли.
Но лоб склоню — и опалит ладони
сиротства высочайший ореол.

Всех вместе жаль, а на меня одну —
пускай падут и буря, и лавина.
Я дивным пеньем не прельщу дельфина
и для спасенья уст не разомкну.

Зачем? Без них — не надобно меня.
И проку нет в упреках и обмолвках.
Жаль — челн погиб, и лишь в его обломках
нерасторжимы наши имена.

ЭТО Я...

Это я — в два часа пополудни
повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.
Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа — это я
в знойный день довоенного лета
озираю красу бытия.
«Буря мглою...» и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы,—
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.
Как белеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.
С непригожим голубеньким ликом,
еле выпростав тело из мук,
это я в предвкушенье великом
слышу нечто, что меньше, чем звук.
Лишь потом оценю я привычку
слушать вечную, точно прибор,
безымянных вещей переключку
с именующей вещи душой.

Это я — мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.
Словно дрожь между сердцем и сердцем,
есть меж словом и словом игра.
Дело лишь за бесхитростным средством
обвести ее вязью пера.
— Быть словам женихом и невестой! —
это я говорю и смеюсь.
Как священник в глуши деревенской,
я венчаю их тайный союз.
Вот зачем мимолетные феи
осыпали свой шепот и смех.
Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.
Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,
юной гончей мой почерк несется,
вот настиг — и озябла душа.
Это я проклиная и плачу.
Пусть бумага пребудет бела.
Мне с небес диктовали задачу —
я ее разрешить не смогла.
Я измучила упряжь шею.
Как другие плетут письма? —
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.
Это я — человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, куда идет электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.
Мне не выпало лишней удачи,
слава богу, не выпало мне

быть заслуженней или богаче
всех соседей моих по земле.
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке.

ОЖИДАНИЕ ЕЛКИ

Благоволите, сестра и сестра,
дочери Елизавета и Анна,
не шелохнуться! О, как еще рано,
как неподвижен капун волшебства!

Елизавета и Анна, ни-ни,
не попускайте мгновенья, покуда
медленный бег неизбежного чуда
сам не достигнет крыла беготни.

Близится тройки трехглавая тень,
Пущин минует сугробы и льдины.
Елизавета и Анна, едины
миг превкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!
Зверь добродушный, пришелец желанный,
сжался над Елизаветой и Анной,
выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!
Все вам верну, ничего не отнявши.
Грозно-живучее шествие наше
медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,
изнемогая и свет исторгая.
Елизавета и Анна, какая
радость — мучительно радости ждать!

Древо взирает на дочь и на дочь.
Надо ль бедой расплатиться за это?
Или же, Анна и Елизавета,
так нам сойдет в новогоднюю ночь?

Жизнь, и страданье, и все это — ей,
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.
Кто это?
Елизаветы и Анны
крик: — Это ель! Это ель! Это ель!

ОПИСАНИЕ УДОДА

Анина мама, гуляя у дома,
каждое утро встречает удода.

Длинному, длинному носу удода
мошек вылавливать очень удобно.

Требуют пищи, любви и ухода
малые, милые дети удода.

Ах, ненаглядная птица удод!
Я по сравненью с тобою — урод.

Короток нос мой, и челка убога.
Нет во мне стати и прыти удода.

Но не хочу утешенья другого —
дайте мне долго смотреть на удода!

Только одна мне удача угодна —
пусть процветает семейство удода!

Пусть говорит восхищенный народ:
— Славься, прекрасная птица удод.

* * *

Я школу Гнесиных люблю,
пока влечет меня прогулка
по снегу, от угла к углу,
вдоль Скатертного переулка.

Дорожка — скатертью, богат
крахмал порфиросной прачки.
Моиx две тени по бокам —
две хилых пристяжных в упряжке.

Я школу Гнесиных люблю
за песнь, за превышење прозы,
за желтый цвет, что ноябрю
предъявлен, словно гроздь мимозы.

Когда смеркается досуг
за толщей желтой штукатурки,
что делает согбенный звук
внутри захлопнутой шкатулки?

Сподвижник музыки ушел —
где музыка? Душа погасла
для сна, но сон творим душой
и музыка не есть огласка.

Не потревожена смычком
и не доказана нимало,
что делает тайком, молчком
ее материя немая?

В тигриных мышцах тишины
она растет прыжком подспудным,
и сны ее совершенны
сокрытым от людей поступком.

Я школу Гнесиных люблю
в ночи, но более при свете,
скользя по утреннему льду,
ловить еду в худые сети.

Влеку суму житья-бытья —
иному подлежа влечению,
возвышенно бредет дитя
с огромною виолончелью.

И в две слезы, словно в бинокль,
с недоуменьем обнаружу,
что безбоязненный бемоль
порхнул в губительную стужу.

Чтобы душа была чиста,
ей надобно доверье к храму,
где чьи-то детские уста
веки распевают гамму,

и крошка музыкант таков,
что, бодрствуя в наш час дремотный,
один вдоль улиц и веков
всегда бредет он с папкой нотной.

**Я школу Гнесиных люблю,
когда бела ее ограда
и сладкозвучную ладью
колышут волны снегопада.**

**Люблю ее, когда весна
велит, чтоб вылезли петунии
и в даль открытого окна
доверчиво глядят певунии.**

**Зачем я около стою?
Мы слух на слух не обменяем:
мой — обращен во глубь мою,
к сторонним звукам невменяем.**

**Прислушаюсь — лишь боль и резь,
а кажется — легко, легко ведь...
Сначала — музыка. Но речь
вольна о музыке глаголить.**

СТРОКА

...Дорога не скажу куда...

Анна Азимова

Пластинки глушенькое чудо,
проигрыватель — вздор какой,
и слышно, как невесть откуда,
из недр стесненных, из-под спуда
корней, созревших трав и хвой,
где закипает перегной,
вздымая пар до небосвода,
нет, глубже мыслимых глубин,
из пекла, где пекут рубин
и начинается природа,—
исторгнут, близится, и вот
донесся бас земли и вод,
которым молвлено протяжно,
как будто вовсе без труда,
так легкомысленно, так важно:
«...Дорога не скажу куда...»
Меж нами так не говорят,
нет у людей такого знания,
ни вымыслом, ни наугад
тому не подыскать названья,
что мы в невежестве своем
строкой бессмертной назовем.

* * *

Я завидую ей — молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела,—
нарушенье черты и предела
и востока незваная власть,
так — на северный край чистотела
вдруг — персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена
были схожи основой кромешной,
лишь однажды взглянула с усмешкой —
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать — посмевшей
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей — молодой
до печали, но до упаданья
головою в ладонь, до страданья

я завидую ей же — седой
в час, когда не прервали свиданья
две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,
с вещим слухом, окликнутым зовом:
то ли голосом чьим-то, то ль звоном,
излученным звездой и звездой,
с этим неописуемым зобом,
полным песни, уже неземной.

Я завидую ей — меж корней,
нищей пленнице рая иль ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.

ОТРЫВОК ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ПОЭМЫ О ПУШКИНЕ

1. Он и Она

Каков? — Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен — опасен, зол в речах.
Когда весна — хмур, нездоров, рассеян.

Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рожден в Москве. Истоки крови — родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс — бешеный. Куда там нильским водам!

Гневить не следует: настигнет и убьет.
Когда разгневан — страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот —
не стонет, не страшится, кротко бредит.

В глазах — та странность, что белок белей,
чем нужно для зрачка, который светел.
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,
как вольный франт. Вот так ее и встретил

в пустой аллее. Какова она?
Божественна! Он смотрит (злой, опасный).

Собаньская (Ржевуской рождена,
но рапо вышла замуж, муж — Собапський,

бесхитростен, ничем не знаменит,
тих, неказист и надобен для виду.
Его собой затмить и заменить
со временем случится графу Витту.

Об этом после). Двадцать третий год.
Одесса. Разом — ссылка и свобода.
Раб, обезумев, так бывает горд,
как он. Ему — двадцать четыре года.

Звать — Каролиной. О, из чаровниц!
В ней все темно и сильно, как в природе.
Но вот письма французский черновик
в моем, почти дословном, переводе.

2. Он — Ей [ноябрь 1823 года, Одесса]

Я не хочу Вас оскорбить письмом.
Я глуп (зачеркнуто)... Я так неловок
(зачеркнуто)... Я оскудел умом.
Не молод я (зачеркнуто)... Я молод,
но Ваш отъезд к печальному концу
судьбы приравниваю. Сердцу тесно
(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу
(зачеркнуто)... Вам не к лицу кокетство.
Когда я вижу Вас, я всякий раз
смешон, подавлен, неумею, но верьте
тому, что я (зачеркнуто)... что Вас,
о, как я Вас (зачеркнуто навеки)...

* * *

Сад еще не облетал,
только береза желтела.
«Вот уж и август настал»,—
я написать захотела.

«Вот уж и август настал» —
много ль ума в этой строчке,—
мне ль разобраться? На сад
осень влияла все строже.

И самодержец души
там, где исток звездопада,
повелевал: — Не пиши!
Августу славы не надо.

Слиткам последней жары
сыщешь эпитет не ты ли,
коль золотые шары,
видишь, и впрямь золотые.

Так моя осень текла.
Плод упал переспелый.
Возле меня и стола
день угасал не воспетый.

**В прелести действий земных
лишь тишина что-то значит.
Слишком развязно о них
бренное слово судачит.**

**Судя по хладу светил,
по багрецу перелеска,
Пушкин, октябрь наступил.
Сколько прохлады и блеска!**

**Лед поутру обметал
ночью налитые лужи.
«Вот уж и август настал»,—
ах, не дописывать лучше.**

**Бедствую и не могу
следовать вещим капризам.
Но золотится в снегу
августа маленький призрак.**

**Затвердевает декабрь.
Весело при снегопаде
слышать, как вечный диктант
вдруг достигает тетради...**

* * *

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.

Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.

Малым камушкам во Мцхете
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будет в новость
и колдует надо мной
милрой родины суровость,
нежность родины чужой.

ФЕВРАЛЬ

Февраль, любовь и гнев погоды,
и, страшно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берет себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно вьюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти деревья и дачи
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное теченье,
сосну, понурившую ствол,
в иное он вовлек значенье
и в драгоценность произвел.

Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрузив о нем,
той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своем.

**И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновение, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.**

НЕ ПИСАТЬ О ГРОЗЕ

Беспорядок грозы в небесах!
Не писать! Даровать ей свободу —
не воспетою быть, нависать
над землей, принимающей воду!

Разве я ее вождь и судья,
чтоб хвалить ее: радость! услада! —
не по чину поставив себя
во главе потрясенного сада?

Разве я ее сплетник и враг,
чтобы, пристально выследив, наспех
величавые лес и овраг
обсуждал фамильярный анапест?

Пусть хоть раз доведется уму
быть немым очевидцем природы,
не добавив ни слова к тому,
что объявлено в сводке погоды.

Что за труд — бег руки вдоль ствола?
Это — отдых, награда за муку,
когда темною тяжестью лба
упираешься в правую руку.

**Пронеслось! Открываю глаза.
Забываю про руку — пусть пишет.
Навсегда разминутись — гроза
и влюбленный уродец эпитет.**

**Между тем удастся руке
детским жестом придвинуть тетрадку
и в любви, в слабоумье, в тоске
все, что есть, описать по порядку.**

РИСУНОК

Борису Мессереру

Рисую женщину в лиловом.
Какое благо — рисовать
и не уметь! А ту тетрадь
с полузабытым полусловом
я выброшу! Рука вольна
томиться нетерпением новым.
Но эта женщина в лиловом
откуда? И зачем она
ступает по корням еловым
в прекрасном парке давних лет?
И там, где парк впадает в лес,
лесничий ею очарован.
Развязный! Как он смел взглянуть
прлежным взором благосклонным?
Та, в платье нежном и лиловом,
строга и продолжает путь.
Что мне до женщины в лиловом?
Зачем меня тоска берет,
что будет этот детский рот
ничтожным кем-то поцелован?
Зачем мне жизнь ее грустна?
В дому, ей чуждом и суровом,

родимая и вся в лиловом,
кем мне приходится она?
Неужто розовой, в лиловом
столь не желавшей умирать,—
все ж умереть?
А где тетрадь,
чтоб грусть мою упрочить словом?

* * *

Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.

— Вам сколько лет? — Ответила:

— Осьмнадцать.—

Многоугольник скул, локтей, колен.

Надменность, угловатость и косматость.

Все чудно в ней: и доблесть худобы,
и рыцарский какой-то блеск во взгляде,
и смуглый лоб... Я знаю эти лбы:
ночь напролет при лампе и тетради.

Так и сказала: — Мне осьмнадцать лет,
меня никто не понимает в доме.

И пусть! И пусть! Я знаю, что поэт! —

И плачет, не убрав лицо в ладони.

Люблю, как смотрит гневно и темно,
и как добра, и как жадна до боли.
Я улыбаюсь. Знаю, что — давно,
а думаю: давно ль и я, давно ли?..

Прощается. Ей надобно — скорей,
не расточив из времени ни часа,
робеть, не зная прелести своей,
печалиться, не узнавая счастья...

* * *

Теперь о тех, чьи детские портреты
вперяют в нас неукротимый взгляд:
как в рекруты забритые в поэты,
те стриженные девочки сидят.

У, чудища, в которых все нечетко!
Указка им — лишь наущенье звезд.
Не верьте им, что кружева и челка.
Под челкой — лоб. Под кружевами — хвост.

И не хотят, а притворятся ловко.
Простак любви влюбиться норовит.
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.
Тать мглы ночной, «Мне страшно!» — говорит.

Муж несравненный! Удели ей ада.
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:
дай ей страдать — и хлебом не корми!

Твоя измена ей сподручней ласки.
Не позабудь, прижав ее к груди:
все, что ты есть, она предаст огласке
на столько лет, сколь есть их впереди.

Кто жил на белом свете и мужского
был пола, знает, как судьба прочна
в нас по утрам: иссохло в горле слово,
жить надо снова, ибо ночь прошла.

А та, что спит, смыкая пуще веки,—
что ей твой ад, когда она в раю?
Летит, минуя там, в надзвездном верхе,
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.

А все ж — пора. Стыдись, озябнув, мучась,
надела прах вчерашнего пера
и — прочь одна, в бесхитростную участь,
жить, где жила, где жить опять пора.

Те, о которых речь, совсем иначе
встречают день. В его начальной тьме,
о, их глаза — как рысий фосфор, зрячи,
и слышно: бьется сильный пульс в уме.

Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!
Вчерашний день ей не в науку. Ты —
здесь ни при чем. Ее душа свободна.
Ей весело, что листья так желты.

Ей важно, что тоскует звук о звуке.
Что ты о ней — ей это все равно.
О муке речь. Но в степень этой муки
тебе вовек проникнуть не дано.

Ты мучил женщин, ты был смел и волен,
вчера шутил — не помнишь нынче, с кем.
Отныне будешь, славный муж и воин,
там, где Лаура, Беатриче, Керн.

**По октябрю, по болдинской аллее
уходит вдаль, слезы не уронив,—
нежнее женщин и мужчин вольнее,
чтоб заплатить за тех и за других.**

* * *

Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
стекающий с горы лавиной многоцветья.
Начнемте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья.

Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,
упущенный горой, воспринятый Окою.

Попробуем следить за поведением двух
кисейных рукавов, за блеском медальона,
сокрывшего в себе... ау, любезный друг!..
сокрывшего, и пусть, с нас и того довольно.

Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,
забыть грядущий век для сущего события.
Ау, любезный друг! Идете ли? — Иду.—
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.

А это что за гость? — Да это юный внук
Арсеньевой. — Какой? — Столыпиной.— Ну, что же,
храни его господь. Ау, любезный друг!
Далекий свет иль звук — чирк холодом по коже.

**Ау, любезный друг! Предчувствие беды
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.
И, как ни отступай в столетья и сады,
душа не сыщет в них забвенья и блаженства.**

ЧУЖАЯ МАШИНКА

Моя машинка — не моя,
мне подарил ее коллега,
которому она мала,
а мне — как раз, но я жалела
ее за то, что человек
обрек ее своим повадкам
и, сделавшись живей, чем вещь,
она страдала, став подарком.
Скучал и бунтовал зверек,
не прирученный нрав насупив,
и отвергал, как лишний слог,
высокопарнейший мой суффикс.
Пришелец из судьбы чужой
переименовывал мой почерк,
меня неведомой душой
преувеличив и упрочив.
Снесла я добрый производ,
и сделалось судьбой моею
всегда желать, чтоб мой глагол
был проще, чем сказать умею.
Пока в себе не ощутишь
последней простоты насущность,
слова твои — пустая тишь,
зачем ее слагать и слушать?

**Какое слово предпочесть
словам, их грешному излишку —
не знаю. Но всего, что есть,
укор и понуканье слышу.**

ВЗОЙТИ НА СЦЕНУ

Пришла и говорю: как нынешнему снегу
легко лететь с небес в угоду февралю,
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю.

О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.
Мой голос, словно снег, вам упадет в ноги,
и он умрет, как снег, и обратится в грязь.

Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь
явиться на помост с больничной простыни.
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!
О кто-нибудь, приди и время растяни!

По грани роковой, по острию каната —
плюсунья, так пляши, пока не сорвалась.
Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо.
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.

Исчерпана до дна пытливыми глазами,
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.
Себя не сохраняю, его не посрамлю.

Измучена гортань кровотеченьем речи,
но весел мой прыжок из темноты кулис.
В одно лицо людей, все явственней и резче,
сливаются черты прекрасных ваших лиц.

Я обращаю в поклон нерасторопность жеста.
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.
Достанет ли их вам для малого блаженства?
Не навсегда прошу — пускай на миг, на миг...

* * *

Стихотворения чудный театр,
нежся и кутайся в бархат дремотный.
Я — ни при чем, это занят работой
чуждых божеств несравненный талант.

Я — лишь простак, что извне приглашен
для сотворенья стороннего действия.
Я не хочу! Но меж звездами где-то
грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,
нам ли решать, что сегодня сыграем?
Глух к наставленьям и недосягаем
в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес —
нас упасти от любви его лютой?
Как помывает безграмотной лютней
безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,
некого спрашивать: вместо ответа —
мука, когда раздирают отверстие
труб — для рыданья и губ — для тирад.

**Кончено! Лампы огня не таят.
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.
Вкратце — всей жизнью и смертью — разыгран
стихотворения чудный театр.**

ЗАКЛИНАНИЕ

Не плачьте обо мне! Я проживу —
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярском юге проживу.

Не плачьте обо мне! Я проживу —
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет божью мать,
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне! Я проживу —
той, грамоте наученной девочкой,
которая в грядущести нечеткой
мои стихи, моей рыжея челкой,
как дура будет знать, — я проживу.

Не плачьте обо мне! Я проживу —
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой —
уж как-нибудь, а все ж я проживу!

* * *

Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,
но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолимый,
в сохранности от всех благополучий,
но обойди твоей опекой жгучей
двух девочек, замаранных малиной.

Еще смеются, рыщут в листьях ягод
и вдруг, как я, глядят с такой же грустью.
Как все, хотела — и поила грудью,
хотела — медом, а вспоила — ядом.

Непоправима и невероятна
в их лицах мета нашего единства.
Уж коль ворона белой уродится,
не дай ей бог, чтоб были воронята.

Белеть — нелепо, а чернеть — не ново,
чернеть — недолго, а белеть — безбрежно.
Все более я пред людьми безгрешна,
все более я пред детьми виновна.

СОН

Наскучило уже, да и некстати
о знаменитом друге рассуждать.
Не проще ль в деревенской благодати
бесхитростно писать слова в тетрадь —

при бабочках и при окне открытом,
пока темно и дети спать легли...
О чем, бишь? Да, о друге знаменитом.
Свирепей дружбы в мире нет любви.

Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь,
и все о нем, и все в укор ему.
Любовь моя — вот мой туманный довод.
Я не учена вашему уму.

Когда б досель была я молодая,
все б спорила до расцветанья щек.
А слава что? Она — молва худая,
но это тем, кто славен, не упрек.

О грешной славе рассуждайте сами,
а я ленюсь, я молча посижу.
Но чтоб вовек не согласиться с вами,
что сделать мне? Я сон вам расскажу.

Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
приснилось мне, что входит мой приятель
и говорит: — Страшись. Дурная весть.

— О нем? — О нем.— И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: — Он умер.
А ты — держись. Иди к его жене.

Глаза жены серебряного цвета:
зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
мой смертный крик вознесся над землей.

Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошел, а я еще кричала.
Проходит жизнь, а я еще кричу.

О, пусть моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву —
не дай мне бог моих друзей оплакать!
Все остальное я переживу.

Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив — и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы — судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

АДА

Что в бедном имени твоём,
что в имени неблагозвучном
далось мне?
Я в слезах при нем
и в страхе неблагополучном.

Оно — лишь звук, но этот звук
мой напряженный слух морочил.
Он возникал — и кисти рук
мороз болезненный морозил.

Я запрещала быть словам
с ним даже в сходстве отдаленном.
Слова, я не прощала вам
и вашим гласным удлинненным.

И вот, доверившись концу,
я выкликнула имя это,
чтоб повстречать лицом к лицу
его неведомое эхо.

Оно пришло и у дверей
вспорхнуло детскою рукою.
О, имя горечи моей,
что названо еще тобою?

Ведь я звала свою беду,
свою проклятую, родную,
при этом не имея в виду
судьбу несчастную другую.

И вот сижу перед тобой,
не смею ничего нарушить,
с закинутой головой,
чтоб слез моих не обнаружить.

Прости меня! Как этих рук
мелки и жалостны приметы.
И ты — лишь тезка этих мук,
лишь девочка среди планеты.

Но что же делать с тем, другим
таким же именем, как это?
Ужели всем слезам моим
иного не сыскать ответа?

Ужели за моей спиной
затем, что многозначно слово,
навек остался образ твой
по воле совпаденья злого?

Ужель какой-то срок спустя
все по тому же совпаденью
и тень твоя, как бы дитя,
рванется за моею тенью?

И там, в летящих облаках,
останутся как знак разлуки
в моих протянутых руках
твои протянутые руки.

ПУТНИК

Анели Судакевич

Прекрасной медленной дорогой
идут в Алёкино (оно
зовет себя: Алекино),
и дух мой, мерный и здоровый,
мне внове, словно не знаком,
и может быть, не современник
мне тот, по склону, сквозь репейник,
В Алекино за молоком
бредущий путник. Да туда ли,
затем ли, ныне ль он идет,
врисован в луг и небосвод
для чей-то думы и печали?
Я — лишь сейчас, в сей миг, а он —
всегда: пространства завсегдатай,
подошвами худых сандалий
осуществляет ход времен
вдоль вечности и косогора.
Приняв на лоб припек огня
небесного, он от меня
все дальше и — исчезнет скоро.
Смотрю вослед своей душе,
как в сумерках на убыль света,

отсутствую и брезжу где-то —
то ли еще, то ли уже.

**И, выпраставшись из артерий,
громоздких пульсов и костей,
вишу, как стайка новостей,
в ночи не принятых антенной.**

**Мое сознание растолкав
и запово его туманя
дремотной речью, тетя Маня
протягивет мне стакан
парной и первобытной влаги.**

**Сижу. Смеркается. Дождит.
Я вновь жива и вновь должник
вдали белеющей бумаги.**

**Старуха рада, что зятя
убрали сено. Тишь. Беспечность.
Течет, впадая в бесконечность,
журчание житья-бытья.**

**И снова путник одержимый
вступает в низкую зарю,
и вчуже долго я смотрю
на бег его непостижимый.
Непоправимо сир и жив,
он строго шествует куда-то,
как будто за красу заката
на нем ответственность лежит.**

ОСЕНЬ

**Бьют часы, возвестившие осень:
тяжелее, чем в прошлом году,
ударяется яблоко оземь —
столько раз, сколько яблок в саду.**

**Этой музыкой, внятной и важной,
кто твердит, что часы не стоят?
Совершает поступок отважный,
но как будто бездействует сад.**

**Все заметней в природе печальной
выраженье любви и родства,
словно ты — не свидетель случайный,
а виновник ее торжества.**

* * *

Так, значит, как вы делаете, други?
Пораньше встав, пока темпо-светло,
открыв тетрадь, перо берете в руки
и пишете? Как, только и всего?

Нет, у меня — все хуже, все иначе.
Свечу истрачу, взор сошлю в окно,
как второгодник, не решив задачи.
Меж тем в окне уже светло-темно.

Сначала — ночь отчаянья и бденья,
потом (вдруг нет?) — неуловимый звук.
Тут, впрочем, надо начинать с рожденья,
а мне сегодня лень и недосуг.

* * *

Сперва дитя явилось из потемок
небытия.

В наш узкий круг щенок
был приглашен для счастья.

А котенок
не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.
В миг волшебства сама зажглась свеча:
к нам шел сверчок, влача нежнейший скрежет,
словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.
Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.
Где ты, грядущий новичок родимый?
Верти крылами! Убыстряй педаль!

Покуда вещи движутся в квартиры
по лестнице — мы отойдем и ждем.
Но все же мы не так наги и сыры,
чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь, вошедший!
Ты сам увидишь, как по вечерам

мы зажигаем наш фонарь волшебный.
О, смех! О, лай! О, тарарам!

Старейшина в беспечном хороводе,
вполне бесстрашном, если я жива,—
проговарюсь моей ночной свободе,
как мне страшна забота старшинства.

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.
Стареет пес. Сиротствует тетрадь.
И лишь дитя все больше молодое,
все больше хочет жить и ликовать.

Давно уже в ангине, только ожил
от жара лоб, так тихо, что почти
подумало, дитя сказала: — Ежик,
прости меня, за все меня прости.

Витает, подрастая, наша стая,
блистая правом жить и ликовать,
блаженство и блаженность сочетая,
их смысл благой приняв за благодать.

Вкривь обходящим лужи и канавы,
несущим мысль про хлеб и молоко,
что нам пустей, что смехотворней славы?
Меж тем она дается нам легко.

Когда сентябрь, тепло и воздух хлипок
и все бегут с учений и работ,
нас осыпает золото улыбок
у станции метро «Аэропорт».

ПОЭТЕССЕ АННЕ КАЛАНДАДЗЕ

Как мило все было, как странно.
Луна восходила, и Анна
печалилась и говорила:
— Как странно все это, как мило.—
В деревьях вблизи ипподрома —
случайная сень ресторана.
Веселье людей. И природа:
луна, и деревья, и Анна.
Вот мы — соучастники сборищ.
Вот Анна — сообщник природы,
всего, с чем вовеки не споришь,
лишь смотришь — мгновенья и годы.
У трав, у луны, у тумана
и малого нет недостатка.
И я понимаю, что Анна —
явление того же порядка.
Я стала резвей и развязней
и молвила тост неизбежный:
— Ах, Анна, я прелести вашей
такой почитатель прилежный.
Позвольте спросить вас: а разве
ваш стих — не такая ж загадка,
как встреча Куры и Арагви
близ Мцхета во время заката?

Как эти прекрасные рски
слились для иного значенья,
так вашей единственной речи
нерасторжимы теченья.
В ней чудно слова уцелели,
сколь есть их у Грузии милой:
и раньше — до Свети-Цховели,
и дальше — за нашей могилой.
Но, Анна, вот сад ресторана,
веселье вблизи ипподрома,
и слышно, как ржет неустанно
коней неусыпная дрема.
Вы, Анна, — ребенок и витязь.
Вы — маленький стебель бесстрашный.
Но, Анна, клянитесь, клянитесь,
что прежде вы не были в хашной! —
И Анна клялась и смеялась,
смеялась и клятву давала:
— Зарей, затевающей алость,
клянусь, что еще не бывала! —
О жизнь, я люблю твою сущность:
луну, и деревья, и Анцу,
и Анны смятенье и ужас,
когда подступали к духану.
Слагала душа потаенно
свой шелест, в награду за это
присутствие Галактиона
равнялось избытку рассвета,
не то чтобы видимо зренью,
но очевидно для сердца,
и слышалось: — Есмь я и рею,
вот здесь, у открытого среза
скалы и домов, что повисли
над бездной Куры близ Метехи.

Люблю ваши детские мысли
и ваши простые утехи.
И я помышляла: покуда
соседом той тени не стану,
дай, жизнь, отслужить твое чудо,
ту ночь, и то утро, и Анну...

* * *

Предутренный час драгоценный.
Спасите, свеча и тетрадь!
В предсмертных потемках за сценой
мне выпадет нынче стоять.

Взмыть голой циркачкой под купол!
Но я лишь однажды не лгу:
бумаге молясь неподкупной
и пристальному потолку.

Насильно я петь не умею,
но буду же наверняка,
мучительно выпростав шею
из узкого воротника.

Какой бы мне жребий ни выпал,
никто мне не сможет помочь.
Я знаю, как грозен мой выбор,
когда восхожу на помост.

Погибну без вашей любви,
погибну больней и скорей,
коль вслушаюсь в ваши ладони,
сочту их заслугой своей.

**О, только б хвалы не восстраждать,
вернуться в родной неуют,
не ведая — дивным иль страшным —
удел мой потом назовут.**

**Очнуться живою на свете,
где будут во все времена
одни лишь собаки и дети
бедней и свободней меня.**

* * *

Ни слова о любви! Но я о ней ни слова,
не водятся давно в гортани соловьи.
Там пламя посреди пустого небосклона,
но даже в ночь луны ни слова о любви!

Луну над головой держать я притерпелась
для пуцего труда, для возбужденья дум.
Но в нынешней луне — бессмысленная прелесть,
и стелется Арбат пустыней белых дюн.

Лепечет о любви сестра-поэт-певунья —
вполглаза покошусь и усмехнусь вполрта.
Как зримо возведен из толщи полнолунья
чертог для божества, а дверь не заперта.

Как бедный Гоголь худ там, во главе бульвара,
и одинок вблизи вселенской полыньи.
Столь длительной луны над миром не бывало,
сейчас она пройдет. Ни слова о любви!

Так долго я жила, что сердце пригнуилось,
не выжило в бою с невзгодой бытия,
и вновь свежим-свежа в нем чья-то власть и милость.
Те двое под луной — неужто ты и я?



Прохожий, мальчик, что ты? Мимо
иди и не смотри мне вслед.
Мной тот любим, кем я любима!
К тому же знай: мне много лет.

Зрачков горячую угрюмость
вперять в меня повремени:
то смех любви, сверкнув, как юность,
позолотил черты мои.

Иду... февраль прохладой лечит
жар щек... и снегу намело
так много... и нескромно блещет
красой любви лицо мое.

* * *

Прощай! Прощай! Со лба сотру
воспоминанье: нежный, влажный
сад, углубленный в красоту,
словно в занятие службой важной.

Прощай! Все минет: сад и дом,
двух душ таинственные распри
и медленный любовный вздох
той жимолости у террасы.

В саду у дома и в дому
внедрив многозначенье грусти,
внушала жимолость уму
невнятный помысел о Прусте.

Смотрели, как в огонь костра,
до сна в глазах, до мути дымной,
и созерцание куста
равнялось чтению книги дивной.

Меж наших двух сердец — туман
клубился! Жимолость и сырость,
и живопись, и сад, и Сван —
к единой муке относились.

**Прощай! Но сколько книг, дерев
нам вверили свою сохранность,
чтоб нашего прощанья гнев
поверг их в смерть и бездыханность.**

**Прощай! Мы, стало быть,— из них,
кто губит души книг и леса.
Претерпим гибель нас двоих
без жалости и интереса.**

ДВА ГЕПАРДА

Этот ад, этот сад, этот зоо —
там, где лебеди и зоосад,
на прицеле всеобщего взора
два гепарда, обнявшись, лежат.

Шерстью в шерсть, плотью в плоть проникал,
сердцем втиснувшись в сердце — века
два гепарда лежат. О, какая,
два гепарда, какая тоска!

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,
равный глаз безысходной любви.
На потеху толпе простодушной
обнялись и лежат, как легли.

Прихожу ли я к ним, уйду ли —
не слабее с той давней поры
их объятие густое, как джунгли,
и сплошное, как камень горы.

Обнялись — остальное неправда,
ни утрат, ни оград, ни преград.
Только так, только так, два гепарда,
я-то знаю, гепард и гепард.

* * *

Жила в позоре окаянном,
а все ж душа — белым-бела,
и если кто-то океаном
и был — то это я была.

О, мой купальщик боязливый,
ты б сам не выплыл — это я
волною нежной и брезгливой
на берег вынесла тебя.

Что я наделала с тобою!
Как позабыла в той беде,
что стал ты рыбой голубою,
взлелеянной в моей воде!

И повторяют вслед за мною,
и причитают все моря:
о ты, дитя мое родное,
о бедное, прости меня!

ВОСПОМИНАНИЕ

Мне говорят: который год
в твоём доме идет ремонт,
и, говорят, спешит народ
взглянуть на бодрый ход работ.

Какая вновь взята Казань
и в честь каких побед и ран
встает мучительный глазам
цветастый азиатский храм?

Неужто столько мастеров
ты утруждаешь лишь затем,
созвав их из чужих сторон,
чтоб тень мою свести со стен?

Да не любезничай, чудак!
Ату ее, гони взапой —
из вечной нежности собак,
из краткой памяти вещей!

Не надо храма на крови!
Тень кротко прынет за карниз —
а ты ей лакомство скорми,
которым угощают крыс.

**А если в книжный переплет —
пусть книги кто-нибудь сожжет.
Она опять за свой полет —
а ты опять за свой сачок.**

**Не позабудь про дрожь перил:
дуб изведи, расплавь металл —
им локоть столько говорил,
покуда вверх и вниз летал.**

**А если чья-нибудь душа
вдруг обо мне тайком всплакнет —
пусть в устье снега и дождя
вспорхнет сквозь белый потолок.**

**И главное — чтоб ни одной
свечи, чтоб ни одной свечи:
умеет обернуться мной
свеча, горящая в ночи.**

**Не дай, чтоб паялилась свеча
в твои зрачки своим зрачком.
Вот что еще: убей сверчка!
Мне доводилось быть сверчком.**

**Все делай так, как говорю,
пока не поздно, говорю,
не то устанешь к декабрю
и обратишь свой дом в зарю.**

* * *

За что мне все это? Февральской теплыни подарки,
поблажки небес: то отлив, то прилив снегопада,
то гляну в окно — белизна без единой помарки,
то сумерки выросли, словно растения сада.

Но этого мало, и входит мой гость непаглядный!
Какой ты нарядный, а мог оборванцем скитаться.
Ты сердцу приходишься братом, а зренью наградой.
О, дай мне бедою с твоею звездой расквитаться!

Я баловень чей-то, и не остается оружия
ума, когда в дар принимаю твой дар драгоценный.
Входи, моя радость, ну, что же ты медлишь, Андрюша,
в прихожей, как будто в последних потемках за сценой?

Стекло о стекло, лоб о губы, а ложки о плоски.
Не слишком ли это? Нельзя ли поменьше, поплоче?
Боюсь, что так много. Не надобно больше, о боже,
но ты расточитель — вот книжка в зеленой обложке.

Собрат досточтимый, люблю твою новую книгу,
еще не читая, лаская ладонями глянecь.
Я в нежную зелень проникну и в глушь ее вникну.
Как все зеленеет, куда ни шагнешь и ни глянешь!

**Люблю, что живу, что сиденье на ветхом диване
гостей неизбывных его обрекло на разруху.
Люблю всех, кто жив. Только не расставаться давайте,
сквозь слезы смотреть и нижайше дивиться друг другу.**

* * *

Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.

Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить — что за дивная участь!

Какая удача, что тени легли
вкруг елок и елей, цветущих повсюду,
и вечно зеленая новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.

Откуда нагрянули нежность и слъ,
где прежде таились и как сговорились!
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.

Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный...

ДОМ

Я вам клянусь: я здесь бывала!
Бежала, позабыв дышать.
Завидев снежного болвана,
вздыхала, замедляя шаг.

Непрочный памятник мгновенью,
снег рукотворный на снегу,
как ты, жива на миг, а верю,
что жар весны превозмогу.

Бесхитростный прилив народа
к витринам — празднество сулил.
Уже Никитские ворота
разверсты были, снег валил.

Какой полет великолепный,
как сердце бедное несло
вдоль Мерзляковского — и в Хлебный,
сквозняк — навывлет, двор — насквозь.

В жару предчувствия плохого
поступка до скончанья лет —
в подъезд, где ветхий лак плафона
так трогателен и нелеп.

Как опрометчиво, как пылко
я в дом влюбилась! Этот дом
набит, как детская копилка,
судьбой людей, добром и злом.

Его жильцов разнообразных,
которым не было числа,
подвыпивших, поскольку праздник,
я близко к сердцу приняла.

Какой разгадки разум страждал,
подглядывая с добротой
неистовую жизнь сограждан,
их сложный смысл, их быт простой?

Пока таинственная бытность
моя в том доме длилась, я
его старухам полюбила
по милости житья-бытья.

В печальном лифте престарелом
мы поднимались, говоря
о том, как тяжело старым телом
терпеть погоду декабря.

В том декабре и в том пространстве
душа моя отвергла зло,
и все казались мне прекрасны,
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке.
Пульсировала бесконечность
в груди, в запястье и в виске.

Я пла, ущелья коридоров
меня заманивали в глубь
чужих печалей, свадеб, вздоров,
в плач кошек, в лепет детских губ.

Мне — выше, мне — туда, где должен
пришелец взмыть под крайний свод,
где я была, где жил художник,
где ныне я, где он живет.

Его диковинные вещи
воспитапы, как существа.
Глаголет их немое вече
о чистой тайне волшебства.

Тот, кто собрал их воедино,
был не корыстен, не богат.
Возвышенная вещь родима
душе, как верный пес иль брат.

Со свалки времени былого
возвращены и спасены,
они печально и беззлобно
глядят на спешку новизны.

О, для раската громового
так широко открыт раструб.
Четыре вещей граммофона
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю
от нежности, когда вхожу,
я так же шею выгибаю
и так же голову держу.

Я, как опи, витиеватъ,
и горла обнажен проем.
Звук незапамятного вальса
сохранен в голосе моем.

Не их ли зов меня окликнул,
и не они ль меня влекли
очнуться в грозном и великом
недоумении любви?

Как добр, кто любит, как огромен,
как зряч к значенью красоты!
Мой город, словно новый город,
мне предъявил свои черты.

Смуглей великого арапа
восходит ночь. За что мне честь —
в окно увидеть два Арбата:
и тот, что был, и тот, что есть?

Лиловой гроздью виснет сумрак.
Вот стул — капризник и чудак.
Художник мой портрет рисует
и смотрит остро, как чужак.

Уже считая катастрофой
уют, столь полный и смешной,
ямб примеряю пятистопный
к лицу, что так любимо мной.

Я знаю истину простую:
любить — вот верный путь к тому,
чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.

Всегда быть не хитрей, чем дети,
не злей, чем дерево в саду,
благословляя жизнь на свете
заботливей, чем жизнь свою.

Так я жила былой зимою.
Ночь разрасталась, как сирень,
и все играло надо мною
печали сильная свирель.

Был дом на берегу бульвара.
Не только был, но ныне есть.
Зачем твержу: я здесь бывала,
а не твержу: я ныне здесь?

Еще жива, еще любима,
все это мне сейчас дано,
а кажется, что это было
и кончилось давным-давно...

ДАЧНЫЙ РОМАН

**Вот вам роман из жизни дачной.
Он начинался в октябре,
когда зимы кристалл невзрачный
мерцал при утренней заре.**

**И тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
был зренья моего добычей
и пленником души моей.**

**Недавно, добрый и почтенный,
сосед мой умер, и вдова,
для совершенья жизни брешной,
усхала, а дом сдала.**

**Так появились брат с сестрою.
По вечерам в чужом окне
сияла кроткою звездюю
их жизнь, неведомая мне.**

**В благовоспитанном соседстве
поврозь мы дождались зимы,
но, с тайным любопытством в сердце,
невольню сообщались мы.**

Когда вблизи моей тетради
встречались солнце и сосна,
тропинкой, скрытой в снегопаде,
спешила к станции сестра.

Я полюбила тратить зренье
на этот мимолетный бег,
и длилась целое мгновенье
улыбка, свежая как снег.

Брат был свободней и не должен
вставать, пока не встанет день.
«Кто он? — я думала. — Художник?»
А думать дальше было лень.

Всю зиму я жила привычкой
их лица видеть поутру
и знать, с какою электричкой
брат пустится встречать сестру.

Я наблюдала их проказы,
снежки, огни, когда темно,
и знала, что они прекрасны,
а кто они — не все ль равно?

Я вглядывалась в них так остро,
как в глушь иноязыких книг,
и слаще явного знакомства
мне были вымыслы о них.

Их дней цветущие картины
растила я меж сонных век,
сослав их образы в куртины,
в заглохший сад, в старинный снег.

Весной мы сблизились — не тесно,
не учатив случайность встреч.
Их лица были так чудесно
ясны, так благородна речь.

Мы сживали в час заката
в саду, где липа и скамья.
Брат без сестры, сестра без брата,
как ими любовалась я!

Я шла домой, и до рассвета
зрачок держала на луне.
Когда бы не несчастье это,
была б несчастна я вполне.

Тек август. Двум моим соседям
прискучила его жара.
Пришли, и молвил брат: — Мы едем.
— Мы едем,— молвила сестра.

Простились мы — скорей степенно,
чем пылко. Выпили вина.
Они уехали. Стемнело.
Их ключ остался у меня.

Затем пришло письмо от брата:
«Коли прогневаетесь Вы,
я не страшусь: мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.
Зачем, простак недалновидный,
я тронул на снегу Ваш след?
Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился — еле видный,
доныне излучает свет

ладонь...» — с печалью деловитой
я поняла, что он — поэт,
и заскучала...

Тем не мене
отвыкшие скрипеть ступени
я поступью моей бужу,
когда в соседний дом вхожу,
одна играю в свет и тени
и для таинственной затей
часы зачем-то завожу
и долго за полночь сижу.

Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе
зайдется ставня. Видно мне,
как ум забытой ими книги
печально светится во тьме.

Уж осень. Разве осень? Осень.
Вот свет. Вот сумерки легли.
«Но где ж роман? — читатель спросит.—
Здесь нет героя, нет любви!»

Меж тем — все есть! Окрест крепчает
октябрь, и это означает,
что тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
идет дорогою обычной
на жадный зов свечи моей.

Сад облетает первобытный,
и от любви кровопролитной
немее сердце, и в костры
сгребают листья... Брат сестры,
прощай навеки! Ночью лунной

другой возлюбленный безумный,
чья поступь молодому льду
не тяжела, минует тьму
и к моему подходит дому.
Уж если говорить: люблю! —
то, разумеется, ему,
а не кому-нибудь другому.

Очнись, читатель любопытный!
Вскричи: «Как, намертво убитый
и прочный, точно лунный свет,
тебя он любит?!» —
Вовсе нет.

Хочу соврать и не совру,
как ни мучительна мне правда.
Боюсь, что он влюблен в сестру
стихи слагающего брата.

Я влюблена. Она любима,
вот вам сюжета грозный крен.
Ах, я не зря ее ловила
на робком сходстве с Анной Керн!

В час грустных наших посиделок
твержу ему: — Тебя злодей
убил! Ты заново содеян
из жизни, из любви моей!

Коль ты таков — во мглу веков
назад сошлю! —
Не отвечает
и думает: «Она стихов
не пишет, часом?» — и скучает.

**Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ягм ненасытный услаждая
великой горечью любви.**

СОДЕРЖАНИЕ

Дом и лес	3
«Однажды, покачнувшись на краю...» . . .	5
«Последний день живу я в странном до- ме...»	6
«Мне вспоминать сподручней, чем иметь...»	7
«Кто знает — вечность или миг...»	9
Прощание	10
«Я вас люблю, красавицы столетий...» . . .	11
Февраль без снега	14
«Как никогда беспечна и добра...»	17
«Собрались, завели разговор...»	19
Ночь перед выступлением	21
Описание комнаты	23
Подражание	25
Это я...	27
Ожидание елки	30
Описание удода	32
«Я школу Гнесиных люблю...»	33
Строка	36
«Я завидую ей — молодой...»	37
Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине . .	39
«Сад еще не облетал...»	41
«Сны о Грузии — вот радость!..»	43
Февраль	44

«Не писать о грозе...»	46
Рисунок	48
«Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет...»	50
«Теперь о тех, чьи детские портреты...» .	51
«Глубокий нежный сад, впадающий в Оку...»	54
Чужая машинка	56
Взойти на сцену	58
«Стихотворения чудный театр...»	60
Заклинание	62
«Завидна мне извечная привычка...» . .	63
Сон	64
Ада	66
Путник	68
Осень	70
«Так, значит, как вы делаете, други?..» .	71
«Сперва дитя явилось из потемок...» . .	72
Поэтессе Анне Каландадзе	74
«Предутренний час драгоценный...» . . .	77
«Ни слова о любви!..»	79
«Прохожий, мальчик, что ты? Мимо...» .	80
«Прощай! Прощай! Со лба сотру...» . . .	81
Два гепарда	83
«Жила в позоре окаянном...»	84
Воспоминание	85
«За что мне все это? Февральской теплы- ни подарки...»	87
«Какое блаженство, что блещут снега...» .	89
Дом	90
Дачный роман	95

Белла Ахатовна Ахмадулина

МЕТЕЛЬ

М., «Советский писатель», 1977, 104 стр.
План выпуска 1977 г. № 126

Редактор *В. С. Фогельсон*
Худож. редактор *В. В. Медведев*
Техн. редактор *А. И. Мордовина*
Корректор *С. Б. Блауштейн*

ИБ № 63

Сдано в набор 25/V 1977 г. Подписано к печати 31/X 1977 г. А 09859. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 3¹/₄. Усл. печ. л. 4,55. Уч.-изд. л. 2,84. Тираж 50 000 экз. Заказ № 453. Цена 45 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

45k



45 коп.



